

ДЕ

Сергей
Лебедев

БЮ

ТА

НТ

CoRPvS

“ЛУЧШИЙ ЯД —
ЭТО СТРАХ”

Сергей Сергеевич Лебедев

Дебютант

Серия «Русский Corpus»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63111848
Дебютант: АСТ: CORPUS; Москва; 2021
ISBN 978-5-17-132995-2

Аннотация

Дебютант – идеальный яд, смертельный и бесследный. Создавший его химик Калитин работал в секретном советском институте, но с распадом Союза бежал на Запад. Подполковник Шершнев получает приказ отравить предателя его же изобретением...

Новый, пятый, роман Сергея Лебедева – закрученное в шпионский сюжет художественное исследование яда как инструмента советских и российских спецслужб. И – блестящая проза о вечных темах: природе зла и добра, связи творца и творения, науки и морали.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	19
Глава 3	24
Глава 4	43
Глава 5	59
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Сергей Лебедев

Дебютант

Гомункул

(внутри колбы, обращаясь к Вагнеру)

*А, папенька! Я зажил не шутя.
Прижми нежней к груди свое дитя!
Но – бережно, чтоб не разбилась склянка.
Вот неизбежная вещей изнанка:
Природному вселенная тесна,
Искусственному ж замкнутость нужна.
(Обращаясь к Мефистофелю.)
А, кум-хитрец! Ты в нужную минуту
Сюда явился к моему дебюту.
Меня с тобой счастливый случай свел:
Пока я есть, я должен делать что-то,
И руки чешутся начать работу.
Ты б дельное занятие мне нашел.*

Гете “Фауст”¹

Глава 1

Вырин уже давно свыкся с тихими затяжными болезнями, сопутствующими близящейся старости. Но летом он ощущал тяготы, муки тела гораздо явственнее, чем в другие сезоны. Они созревали, набирали силу к концу августа, к очередной годовщине побега, терзали суставы, сосуды, зрачки

– и легко уходили ранней осенью, когда спадала жара, успокаивался барометр.

“Может быть, так действует смертный приговор, вынесенный *in absentia*?” – шутил он сам с собой, чувствуя на губах полынный вкус отсроченной смерти.

“Или это тело мстит мне? – думал он. – Мстит за новое лицо, созданное пластическим хирургом? За удаленные лазером памятные шрамы и родинки? Все помнит и нарочно подгадывает месть к дате бегства?”

От контактных линз, изменяющих цвет глаз, постоянно конъюнктивит. Ноги ноют от вставок в ботинках, увеличивающих рост. Волосы стали ломкими, выпадают из-за краски. Быть другим – ежедневный тяжелый труд. А он все никак не привыкнет.

Формально тот прошлый человек больше не существовал. Был другой. Подкидыш, перевертыш, чью биографию сочинили мастера лжи и перевоплощений.

Иной язык. Иные привычки. Даже сны – иные. Иная, как бы выросшая поверх прежней, память.

Однако подаренная личность совмещалась с ним настоящим только как протез; лишь считанные разы Вырин ощущал ее естественной своей частью.

Тело, пусть даже и переписанное, перерисованное скальпелем, помнило – нутряной памятью кишок, печени, почек, в которых осаждаются, кристаллизуются шлаки бытия, желчные и почечные камни. Тело сопротивлялось, отторгало

новое обличье, новое имя, новую судьбу. Сопротивлялось, хотя возврата в прошлое для Вырина не было и быть не могло; из-за приговора банальная метафорическая сентенция имела и прямую юридическую силу.

И он научился не подавлять, а ценить, сочувственно наблюдать это упрямство дряхлеющей плоти, отрицающей фальшивое, навязанное таинство второго рождения. Тело, тело, только ты и осталось у меня, говорил он иногда со странной подростковой нежностью. Тело и вправду осталось единственным имеющимся у него материальным свидетельством, что он прежний когда-то был.

Но существовало и другое свидетельство, недоступное, неподвластное ему. Бумажный призрак. Дубликат жизни. Особое архивное “Я”, которого нет у обычных людей.

Личное дело офицера.

Выжимка, суть его прежнего. Еще не перебежчика. Еще не предателя.

Папка из голубого картона. 225 x 330 x 25 мм.

Контрольная фотокарточка. Анкета. Автобиография. Репорт о зачислении на службу. Расписка о неразглашении. Материалы спецпроверки. Тест на выносливость: кросс на три километра. Характеризующие материалы: бумаги, бумаги, бумаги.

Он знал, что после его бегства был издан приказ с грифом СС, “Совершенно секретно”, с двумя нулями в номере: “О мерах в связи с предательством Вырина А. В.”. Ему за-

читывали в секретариате такие приказы – о других. Одинаковые, будто написанные под копирку. “Идейное перерождение. Нравственное падение. Принять меры к локализации последствий предательства”. Менялись только имена наказываемых: кадровиков, руководителей учебных отделений, начальников подразделений, которые не проявили должной бдительности, не распознали заранее потенциального изменника.

Но он-то понимал, что в его случае выговоры были объявлены напрасно. Он служил системе преданнее других. И больше иных испугался, когда начала разваливаться страна и показалось, что система рухнет вслед за ней.

Вырин убеждал себя, что уже минули почти три десятилетия и выданная им информация, выданные агенты – все это давно потеряло значение. Агенты, говорил он себе, все равно сгорели бы, их все равно кто-нибудь выдал бы, не я, так другой. Я просто успел сбыть их вовремя, как деньги, что вскоре катастрофически обесценятся; еще год, два – и кому были бы нужны, к примеру, сведения об агентуре в среде антисоветской эмиграции, в рядах европейских коммунистических партий? Если самого СССР уже не стало?

Размышляя рационально, Вырин предполагал, что он в относительной безопасности. Но оставшееся там, за бывшей советской границей, которую он не мог пересечь, личное дело было словно кукла вуду, в которую колдун в любой момент может воткнуть свои смертельные иглы.

Поэтому порой Вырин испытывал беспричинную тревогу, оглядывал руки, живот, шею, лицо: нет ли какой-то необычной сыпи, папиллом, тех странных знаков, что иногда посылает людям вещее естество. В эти мгновения ему казалось, что есть смутная, роковая связь между плотью и бумагой, что оставшийся в архиве документ умеет чувствовать и потому знает больше, чем в нем написано, обладает одномерной душой фурии, умеющей только искать и мстить.

“Бумага хочет крови”, – шептал он, вспоминая, как ему выдавали увесистые картонные папки: дела оперативного наблюдения, дела оперативной разработки. Тогда он еще был загонщиком, а не дичью. Занимался высланными, бежавшими, уехавшими на Запад. Они уезжали, а их дела оставались на архивном хранении; если нужно, дела поднимали – было на службе такое специфическое выражение, “поднять из архива”.

Из подвала. Из глубины. Со дна.

В делах было все. Тысячи страниц. Расшифровки перехваченных телефонных разговоров. Агентурные сообщения. Сводки наружного наблюдения. “В первой половине дня выход объекта из дома и посещение его квартиры известными разведке лицами места не имели. В 16 часов 35 минут во двор объекта въехал автомобиль марки...” “В 10 часов 05 минут вышел из дома, направился в булочную, где приобрел батон белого хлеба...”

Бледные буквы – износилась лента печатной машинки –

будто отражали бессилие, жизненное малокровие тех, за кем велась слежка. Он помнил тысячи этих строк. Их заурядность прежде действовала на него как афродизиак; зримое воплощение мощи их службы и ничтожества ее внутренних врагов – букашек, козявок, насекомых под лупой.

Теперь – спустя новую жизнь в свободной стране – ему казалось, что он читал тогда параноидальный роман без автора, текст текстов, который писала одержимая государственная машина памяти. Роман, стремящийся – в пределе – охватить всю жизнь целиком, создать ее полицейскую копию.

Но государство всегда Циклоп, его взгляд не стереоскопичен, однокбок. Оно видит только водяные знаки лояльности и нелояльности. Отражения исходных подозрений, обрегающих мнимую плоть в случайных событиях. Поэтому досье, думал он, не дубликат жизни. А особый, темный, усеченный ее двойник, сотканный из доносов, украденных, подслушанных слов, подсмотренных сцен; источник тайной зловещей власти, заключающейся в самой возможности сорвать защитные покровы будничности.

Он тоже создавал таких двойников, чтобы с их помощью охотиться на людей.

Сейчас же охотились за ним.

Вырин не мог это доказать. Только чуял, осязал – шестым чувством жертвы. Он ничего не знал наверняка, их служба не делилась своими секретами даже внутри самой себя. Лишь догадывался, что был – мог быть – еще один, неглас-

ный, приказ: тень того номерного “О мерах в связи с предательством...”. Приказ, он же приговор. Ведь в девяностые Вырин давал показания полицейским, которые расследовали коммерческие связи его бывших коллег, подставные фирмы, вывод и отмывание денег. Тогда это казалось безобидным. Теперь – нет.

Психологи предупреждали его, что он может испытать иррациональное желание позвонить в посольство, сдать ся. Или бессмысленно рискнуть, глупо пренебречь правилами конспирации, как бы подсознательно навлекая на себя разоблачение.

Он же никогда не чувствовал подобного.

Но и не рассказывал психологам, что суеверно опасается совсем другого: дурного совпадения, какого-нибудь незначительного блуждающего случая, роковой безделицы, нелепицы. Вроде той, что произошла месяц назад: Вырин получил по почте гербовое уведомление, что отобран в присяжные заседатели.

Лотерея, слепое попадание: компьютерная программа выбрала его из трех сотен тысяч жителей города. Можно даже сказать – хороший знак, подтверждение, что его фальшивой чеканки личность не вызывает вопросов у непосвященных бюрократов, обращается, котируется наравне со всеми прочими.

А он насторожился. Будто почувствовал инородное, ищущее прикосновение, недобрый взгляд. Ведь с самого начала

ему твердо обещали, что его новое имя не попадет в официальные выборки или списки. Пришлось звонить курирующему офицеру. Тот извинился, обещал, что его вычеркнут; дескать, судейские обновляли программу и совместимые базы данных, вот и вышла накладка.

Вырин настаивал на том, чтобы пойти заурядным, легальным путем, взять отвод по состоянию здоровья. Не оставлять электронные следы, которые могут косвенно указать на особой статус господина Михальски. Офицер лишь вежливо усмехнулся.

Прежний куратор еще помнил холодную войну. Стену. Он недавно ушел на пенсию. Новому было лет тридцать с небольшим. Когда Вырин бежал, он еще ходил в детский сад. Наверное, подопечный казался ему чем-то вроде ненужной рухляди, стариковского скарба, завалившегося на чердаке.

“Считает, что я чокнулся от скуки”, – думал Вырин.

Первый его порыв был – уехать. Но он тут же передумал: если за ним все же наблюдают, поспешный отъезд может его выдать. Поэтому Вырин прожил месяц в строгом, даже излишне строгом, согласии со своим всегдашним распорядком нелюдимого холостяка-пенсионера.

И вот гнетущее чувство тревоги наконец ушло; остались только привычные, наскучившие хвори.

Начинался август. По утрам на городском рынке фермеры продавали с лотков, переливающихся бордовым гляncем, овечьих золотым гудением ос, позднюю вишню, ту, что

идет в знаменитый местный торт.

Вишня была чуть пьяная. Во всех странствиях он не видел таких ягод, Голиафов среди вишен, крупных уже до нарушения пропорций, до великанского уродства. Вырин купил этих безукоризненно сладких вишен, но не смог съесть весь кулек: слишком много безвкусного вкуса, неживой фруктовой мякоти, будто целуешь бестрепетные в наркозном сне губы.

Он решил прогуляться излюбленным дальним маршрутом, вознаградить себя за долгие недели затворничества. От реки, делящей город надвое, порожистой и мутной после дождей, от ошалелой ее воды, летящей, то превращаясь в пену, то становясь гулкой волной, Вырин пошел в холмы, в лес, темный даже в солнечный летний полдень.

Поднялся по улице, идущей от главной площади, мимо любимого туристами дома, где из слухового окна торчала, нависая над мостовой, диковинная статуя: усатый янычар в расписной жилетке, с ятаганом в правой руке и щитом в левой – напоминание о жестокой турецкой осаде, о былой угрозе с Востока.

Вырин уже давно не относился к городу как турист. Его не забавляли ни пляшущие фигурки церковных часов, ни крутой фуникулер, ни тоннели в замковой горе. Но одинокий ассасин с двумя лунами на щите, отвернувшимися друг от друга, похожими на скобки, развернутые в обратную сторону – божество опасного отрезка, недоброго часа, – был для

Вырина отнюдь не забавой. Вырину чудилось: если по его душу явится убийца, янычар предупредит, подаст знак.

Около дома с янычаром толпились туристы. Он услышал беглые слова родного языка – после отшельничества прозвучавшие так внезапно и остро, словно в них, обиденных, был скрыт тайный, неведомый самим говорящим второй смысл. Вырин плавно перешел на другую сторону улицы, посмотрел, не поворачивая головы, на отражение в витрине: ничего особенного, просто воскресная экскурсия.

Кварталы особняков. Ботанический сад на окраине. Запотевшие изнутри стекла оранжерей, словно там жарко дышит, сочится едким потом, копит силы, чтобы вырваться наружу, чуждая растительность тропиков, перенявшая хищные ухватки пресмыкающихся и насекомых.

Вырин вышел на грунтовую дорогу, уводящую зигзагом вверх по склонам долины.

Лес был сказочно велик. Он рос по оплывшим склонам известнякового хребта, обрывающегося кручами в туманные заросли, в зеленую прель папоротников и мхов. В лесу терялись расстояния, дорога круто петляла, солнце светило то справа, то слева. Но когда уже казалось, что ты сбился с пути, вдали гулко и ясно звонил соборный колокол; собственно, из-за тягучего оклика колокольной меди, указующего, ободряющего, рассеивающего тревоги, Вырин и любил этот путь среди матерых елей, напоминающих леса его детства.

Он шагал, чувствуя, как тело наполняется блаженной

усталостью. Вырин помнил каждый корень, каждую яму на этом пути, предвкушал, как слева покажется пастбище, обсаженное рябинами – ягоды уже, наверное, налились цветом, – потом потянет славным, добрым печным дымом с фермы... Ходьба и утомила, и взбодрила его, недавние опасения казались вздорными; похоже, думал он, я действительно постарел, стал по-пустому мнительным.

На последнем повороте уже был виден собор. Он стоял на каменном останце, делящем надвое верховья долины. Желтый фасад, обрамленный двумя башнями-колокольнями, продолжал вертикальный отвес утеса. По размеру собор изрядно превосходил городской, кафедральный. Но воздвигли его не в городе, а здесь, в горах, у перевала, на древней тропе паломников, знаменуя величественными сводами объем и значение чьего-то давнего прозрения, обретения веры, случившегося в безмолвном одиночестве скал.

У задней стены собора, в тени каштанов, был ресторанный дворик с добротной кухней. Постоянные официанты узнавали его – или делали вид, что узнают, – не заговаривали, но улыбались сдержанно и уважительно. Тут он полностью ощущал себя господином Михальски; приятное, волнующее чувство сопряжения, слияния истинной и выдуманной личностей он как редкий подарок увозил с собой домой в трамвае, идущем по низу долины.

Сегодня дворик был полон: лето, выходной день. Только один свободный стол с краю, за раскидистым деревом. Рядом

песочница и качели. Наверняка прибегут заполошные дети, поднимут гам... Вырин предпочитал сидеть среди степенно обедающих людей, за чужими фигурами, в мареве спокойных разговоров, стука ножей и вилок: неудобно подслушивать, фотографировать – или целиться.

Вырин стал рассматривать окружающих: не готовится ли кто-нибудь уйти? Нет, все сидели расслабленно, с веселой ленцой. У брюнетки за ближним столиком осталось пикантное пятнышко крем-брюле над верхней губой. Она его не стирала, не слизывала, зная, как обворожительно, сексуально выглядит. Шею ее охватывало ожерелье темного металла, похожее на ошейник, – знак пряных страстей, сладострастных мук, с егозливой дерзостью надетый в ресторан у храма.

Подруга брюнетки, беременная на восьмом, не меньше, месяце – задравшееся из-за выпирающего живота платье обнажало ее полные крепкие ноги, – с таким аппетитом поедала шоколадный торт и шницель одновременно, словно младенец перезрел, родился, оставаясь в утробе, и требовал свою долю пиршественных яств.

Вырин хотел уйти. Его слегка замутило от усталости, от густых запахов, от плотности чужих голосов – деревня маленькая, тут все в троюродном, четвероюродном родстве, отдающем спертой духотой инцеста, выгалкивающим чужака, как соленая морская вода.

Но он чувствовал обаяние игры блистающего света в листе каштанов, выглаженных – ни одной морщинки – ска-

тертей цвета голубой глины, высокогорлых бутылей с ледяной водой, безобидного гомона соседей, балетных движений официантов, несущих на плечах огромные, на шесть или восемь тарелок, подносы, где среди изящно взлохмаченного, будто вышедшего из-под рук парикмахера, салата – тучная зелень с багровыми прожилками – плыли выше голов золотистые, обсыпанные запекшейся крошкой, похожие на рваные кляксы меди, выплевываемые раскаленным горлом плавильной печи, шницели.

Ням, ням, ням, – напевала, нашептывала беременная своему нерожденному младенцу. Беззвучно трубил в золотую трубу ангел с оплывшим известковым лицом над задним входом в собор. И он ощутил, как падает в это беззаботное лето, стоящее над всей землей.

Вырин заказал пиво и стейк. На хмельной запах слетелись осы. Их не привлекали остатки сладкого в соседских тарелках, медовые, шоколадные потеки – только хмель. Они ползали по ободку бокала, норовили сесть на плечо, на руку, кружили назойливо и упорно. Он отмахнулся, едва не расплескав пиво. У него была сильная аллергия на яд насекомых. Еще когда он был на службе, врачи говорили, что она будет прогрессировать с возрастом, и предлагали списать его по состоянию здоровья. Осы, осы, осы – он отставил подальше бокал, щелбаном сбил со стола одну, другую, жалея, что не взял куртку.

Укус. Сзади в голую шею. Внезапный. Очень болезнен-

ный, как укол, сделанный неопытной медсестрой.

Он схватился за укушенное место, но оса уже улетела. Обернулся, занятый своей болью, машинально отметил: какой-то мужчина уходит, садится в машину. Номера не местные.

Шею заломило. Боль поползла вниз и вверх, на плечо, по щеке, на висок. Он нащупал пальцами в ранке что-то микроскопическое – наверное, жало.

В голове помутнело. Зачастило дыхание. Тело окатило сухим жаром. Он с трудом поднялся, пошел в туалет.

Умыться. Умыться холодной водой. Принять таблетку. Но сначала умыться. Как же давит в горле! Кажется, лекарство уже не проглотить. Кожа горит.

Он едва мог стоять. Оперся на раковину, неловко ополоснул лицо. Оса укусила с правой стороны шеи, и правая рука теперь еле сгибалась. Протолкнул, пропихнул в горло таблетку. Увидел в зеркале серое, бескровное, но при этом раздутое изнутри лицо, будто чья-то злая воля пыталась уничтожить работу пластического хирурга, насильно вернуть ему прежний облик.

Таблетка должна была уже подействовать. Новейшее средство.

Но она не действовала.

На серой коже зарделась сыпь. Судорогой скрутило живот. Он осел на пол, уткнулся взглядом в кафель – и все понял. Того мужчины не было среди посетителей ресторана.

Там, где он припарковался, местные машин не ставят.

Последним усилием он поднялся, выбрался, держась за стены, в коридор. Задушенное отеком горло не позволяло кричать, звать на помощь. На крыльце он столкнулся с официантом, несшим из кухни поднос с бутылками и бокалами. Тот подумал, что посетитель безобразно, смертельно пьян, посторонился. И тогда он упал, свалившись вместе с официантом с крыльца, слыша громкий звон разбитой посуды, надеясь, что все замечают, оборачиваются, и прошипел, пробулькал прямо в чужое ухо:

– Скорая... Полиция... Это покушение... Я не пьян... Меня отравили... Отравили...

И обмяк, еще слыша звуки мира, но уже не понимая, что они означают.

Глава 2

Два эти генерала давно знали друг друга. Служили вместе еще под красными знаменами с серпом и молотом.

Генерал-лейтенант был тогда председателем партийного комитета. А негласно – возглавлял номерной отдел, который не указывался даже в особо засекреченном штатном расписании. Генерал-майор был его заместителем, наследником, соперником. Партийный комитет давно упразднили. А вот отдел сохранился. Уцелел при всех реформах их ведомства, при сменах названий и руководителей, дроблениях и слияниях. Как и прежде, он имел только номер и не значился в структуре службы.

Они разговаривали в комнате, защищенной от прослушивания, и могли не опасаться чужих ушей. Но сам их специфический язык, полный профессиональных эвфемизмов, лукавый по сути своей, – позволял собеседникам постоянно недоговаривать, строить фразы так, чтобы они могли трактоваться и как уверенность, и как сомнение.

Оба понимали, что их сегодняшний разговор, скорее всего, выльется в приказ, негласный, не зарегистрированный в системе секретного делопроизводства, который, однако, должен получить санкцию на самом верху. Каждый из генералов хотел бы избежать ответственности за возможный провал, но получить свою долю выгод в случае успеха. Каждый

знал, что думает другой.

– Судя по сведениям соседей, он умер после четырех дней в искусственной коме. Организм, можно сказать, почти справился. Не исключено, что доза была недостаточная. Или выбран неправильный способ введения. Возможно, он успел принять блокирующие таблетки. Или какое-то другое стороннее вещество снизило эффективность препарата. Свое влияние мог оказать фактор погоды. Давление. Дело было в горах, на высоте. Прежде чем потерять сознание, он успел сообщить о покушении. Официант в ресторане оказался бывшим полицейским. Другой бы не придавал значения, счел за бред пьяного...

– Так соседи хотели шумихи или не хотели?

– Детали нам, естественно, не сообщают. Возможно, соседи будут делать хорошую мину при плохой игре: мол, публичность акции планировалась с самого начала.

– Что ж... Перейдем к нашей информации.

– Создан межведомственный штаб расследования. Задействованы международные протоколы. Стали привлекать иностранных экспертов-химиков. Спецов необходимой квалификации очень мало. Они позвали четверых. Трое нам известны, проходят по учетам. Люди с именем. А вот четвертый по учетам не значится. Открытой информации о нем нет. По нашей просьбе опросили компетентных доверенных лиц. Никто о таком ученом не слышал. Поиск продолжаем, ориентировали закордонные резидентуры.

– Да, если смотреть со стороны, какой-то профессор кислых щей...

Оба сдержанно усмехнулись.

– Источник сообщает, что ранее этот профессор в мероприятиях по линии полиции не участвовал. Может быть, его использовали военные, но об этом источник не знает. Непосредственно в расследовании источник не участвует. Его дальнейшие возможности ограничены. Он лишь координирует взаимодействие со стороны полиции своей страны.

Оба генерала замолчали. Они хорошо представляли себе бюрократическую стратегию, когда дело касается чрезвычайного происшествия: управляемый хаос, куча бумаг, согласований, документов, которыми приходится делиться с другими ведомствами. Вынужденный отказ от регламентов секретности. Временные комиссии. Сторонние специалисты, которых в другое время не пустили бы на порог. По плану или не по плану пошла операция соседей, она невольно предоставила им блестящий шанс, о котором соседи не знают.

– Есть очень высокая вероятность, что профессор – это Калитин, – сказал наконец заместитель.

– Да. Такая вероятность есть. Как раз его научный профиль. Один в один. И, поскольку подозрения очевидно падают на нашу страну, весьма разумно пригласить именно его. Если, конечно, он еще жив. И в здравом уме.

– Ему всего семьдесят. Полагаю, он внимательно относит-

ся к своему здоровью. И физическому, и умственному.

– У нас есть адрес?

– Источник сообщил.

– Мы не скомпрометируем источника?

– С уверенностью сказать нельзя.

– Он ценен?

– Умеренно. Из-за его прошлого в ГДР его плохо продвигали по службе. И скоро на пенсию.

– Понятно. Нужно дать приказ в резидентуру. Пусть проведут установку. Послать самых лучших.

– Если установят, можно готовить мероприятие. И выходить на согласование.

– Интересно. Если это Калитин, получается интересно.

– Дебютант...

– Да. Дебютант. Его любимчик.

– Никто из нынешних оперативников с Дебютантом не работал.

– Я это помню.

– Но один кандидат есть. Проводил операцию с ранним препаратом Калитина. Закордонного опыта, правда, не имеет. Но там родился и вырос. Его отец служил в нашей группе войск. Хорошо знает язык. Вот личное дело.

– Я посмотрю. Все необходимые указания отправьте немедленно.

– Есть.

Заместитель вышел из комнаты.

Генерал открыл папку.

Глава 3

Змея и чаша.

Иногда Калитину казалось, что эта неприметная, примелькавшаяся для других эмблема преследует его.

Вывески аптек. Вездесущие машины скорой помощи. Упаковки лекарств. Приемные покои больниц. Бэйджи медицинского персонала. Впрочем, он почти научился отстраняться, не обращать внимания, не считать обращенное лично к нему значение эмблемы.

Но только не сейчас.

Подозрения врачей будили его собственные подозрения, о которых докторам не следовало знать. То, что происходило с его организмом, могло быть отложенным последствием давних опытов, всплеском позавчерашней волны. Он всегда строжайше соблюдал технику безопасности, но слишком уж непредсказуемыми, неприрученными, не понятыми до конца были его вещества. Его дети. Его наследие.

Некоторые процедуры, что проводили с ним врачи, требовали местного обезболивания.

Выбранный анестезиологом наркоз имел скрытый и безобидный побочный эффект, что-то вроде слабенькой, любительской “сыворотки правды”. Калитин ловил яркие, четкие, будто цифровые воспоминания, сентиментальные грезы о минувшем, о том, что он давным-давно не вспоминал

наяву.

Он снова был мальчик, школьник, покорный сын, еще не встретивший призвания, не обретший наставника. Находящийся в той поре созревания, когда жива детская способность населять мир великими тайнами, испытывать жуть и восторг перед необъяснимым, но уже закладываются начала рациональной биографии; и в этом живом противоречии – иногда, не в каждой жизни, – рождаются притяжения, тяготения, символы, глубинные предопределения судьбы.

...Каждый год на Пасху они с родителями ходят в гости к дяде Игорю.

Собственно, мальчик не знает, что это такое – Пасха. На Масленицу пекут блины. На Пасху красят в отваре луковой шелухи яйца и пекут кулич. Праздник ли это? В отрывном календаре его нет. В школе о нем не говорят. Кажется, и сами родители толком не понимают, почему Пасху надо отмечать. Они бы, наверное, и не стали. Но раз дядя Игорь приглашает, отказываться нельзя. Он звонит по телефону и назначает день; о Пасхе в телефонном разговоре ни слова, она как бы подразумевается.

Кто он, дядя Игорь? Мальчик догадывается, что на самом деле он не родной его дядя. Или, точнее, не совсем дядя – кровная связь точно есть, но она запутанная, требующая скрупулезно, по-аптекарьски, исчислять доли родства, перелистывать старые потертые альбомы, которые хранят в укромном уголке и запрещают смотреть без взрослых.

Там, среди незнакомых лиц, непонятных мест, пейзажей, домов, идиллических задников провинциальных ателье вдруг мелькнет женщина в белом платье, сидящая у антрацитовый громады рояля, глядя в распахнутую тайнопись нот. Она-то и будет началом загадочной цепи телесных превращений тонкого в толстое, высокого в низкое, темного в светлое и обратно, последнее звено которой – дядя Игорь.

Мальчик уже выучил, что о некоторых людях с фотографий расспрашивать не нужно. Все равно не ответят или наплетут какую-нибудь ерунду. Однако о тех, кто рядом, о соседях, о сослуживцах отца задавать вопросы можно.

Обо всех, кроме дяди Игоря.

Они живут в новом Городе. Десять лет назад тут была безлюдная тайга. Поэтому все они – новоселы, энтузиасты; так их чествуют в торжественных речах. Город окружен Стеной – серым бетонным забором с колючей проволокой на кронштейнах. Стена построена как бы на вырост: между ней и жилыми кварталами лежат раскорчеванные пустоши. Из-за Стены нельзя позвонить им на домашний телефон. Отправить письмо по домашнему адресу. Приехать в гости. Их Города нет на картах, в справочниках и в атласах. Сюда не ходят пассажирские поезда. Не летают обычные самолеты. О Городе не пишут в газетах. Не говорят по радио. Город не показывают по телевизору. Он называется Советск-22. А для тех, кто живет в нем, – просто Город.

Мальчик никогда на своей памяти не был за Стеной. Но

все-таки он знает, откуда они с родителями приехали – мать часто сожалеет о столице, – где появились на свет его родители, где они учились и встретились, где живут бабушки и тетя.

А вот дядя Игорь словно родился здесь. Возник вместе с Городом. Сразу в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома, который все в Городе зовут просто Дом.

Когда кто-то говорит: “Мы скоро переедем в Дом”, – все с завистью понимают, какой Дом имеется в виду. Тот, на улице Революции. Самый заметный в Городе. Девять этажей. С колоннами у входа и лепниной под карнизами. С бронзовыми ручками на дверях в парадные, где входящих встречает вахтер. С высокими потолками и огромными квартирами. С двумя лифтами в каждом подъезде.

Ходят слухи, что таких Домов должны были построить несколько. Но почему-то построили только один. Жить в нем очень почетно. Отец иногда говорит, что, может быть, им однажды тоже дадут там квартиру. Мать грустно, иронично улыбается в сторону.

Никто из одноклассников мальчика никогда не был в Доме. А он – был. Однако его пока не слишком томит, занимает Дом сам по себе. Он только оболочка, раковина – именно лепные раковины поддерживают карнизы Дома, – тайны жизни дяди Игоря.

Кажется, родители это чувствуют. Отцу неприятно. Он предпочел бы не водить его туда. Чужой круг, говорит он. Но

дядя Игорь приглашает всех троих. И неподатливый отец не может послушаться – почему? Мальчик хочет это знать.

А мать... Однажды мальчик тайком увидел, как в отсутствие отца она примеряет подаренный дядей Игорем на день рождения халат. Нездешний, неземной, бордового тонкого шелка, с вышитыми птицами, цветами и драконами. Она стояла перед зеркалом, то запахивая потуже, чтобы обрисовалась фигура, то вольно распахивая длинные полы халата. Майский свет брызгал из зеркала. Трепетали желтые лепестки лотосов. Пылко извивались, облекая ее бедра, серебряный и золотой драконы с изумрудными глазами, пышущие бисерным, жемчужным дымом из широких фиолетовых ноздрей. Одета, она была так обнажена в своем чувстве, что мальчик смутился и закрыл дверь. Но не стыд вел его руку, а уязвленная страсть; он хотел бы разделить эту ее близость с дядей Игорем, возникшую через подарок.

Замирая от двойной запретности того, что он делает, от нарушения границ и от переодевания в женское, он надел потом этот халат – и тут же сбросил, ошеломленный гадким и томительным ощущением вульгарной нарочитости преображения. Однако мальчик запомнил само действие, способ, как бы отложил в копилку, предчувствуя, что однажды это может понадобиться.

Мальчик уже разобрался, как устроена жизнь в Городе, распределил по ячейкам всех известных ему людей. Благо что Город был организован весьма удобно для этого. В его

центре, за второй Стеной, был Институт, где работал отец. И все жители – охранники, уборщицы, слесаря, водители, ученые, продавщицы, учителя, врачи в больнице, как мать – прямо или косвенно служили Институту.

И только место дяди Игоря было неизвестно.

Ни военный, ни штатский; ни один из узнаваемых, выведенных типов. Отдельный. Свой собственный.

Он единственный жил так, будто не существовало Города, Института, Стены, комендатуры. Красных флагов, транспарантов, демонстраций, плакатов с призывами к бдительности, караульных вышек.

Мальчик догадывался, что он не видит, не знает самой главной правды про дядю Игоря, объясняющей его особое положение. Мальчик мог бы предположить, что работа дяди Игоря секретна, как, например, у отца. Или даже еще секретнее. Но в том-то и дело, что все допущенные к секретам взрослые имели общие привычки, шутки, словечки, которых не было у дяди Игоря. А самое главное – они жили, как отец, с сознанием заемной значимости, которую давал им допуск, и боялись его лишиться. А дядя Игорь был сам по себе. Именно такой невесомой, отдельной судьбы и хотел себе мальчик.

На Пасху у дяди Игоря на длинный стол стелили тонкую льняную скатерть, на которой красной вязью с ятями и ерами были вышиты пословицы. Ставили подсвечник на двенадцать свечей, темно-зеленые, с золотым ободком, рюмки.

Дядя Игорь снимал со стены старую гитару: в зарешеченном струнами круглом оконце светило тусклым золотом клеймо мастера.

Дядя Игорь, ребячески невысокий – ему даже приходилось подкладывать подушку на стул, – худой, с длинными седыми волосами, по-женски пышными, в сером, тонкой шерсти пиджаке и белой сорочке, казался артистом, немного фокусником, умеющим оживлять вещи. Рюмки, столовые приборы в руках гостей будто чертили какой-то чертеж, воссоздавали из небытия нечто, о чем не имел представления никто из присутствующих, не осознающих, что они тут – всего лишь дублеры иного застолья.

Дядя Игорь дирижировал беседой, не прилагая к тому ни малейших усилий. Мальчик замечал, как перестает сутулиться, разгорячается замкнутый обычно отец, хорошеет мать, раскрепощаются другие гости, будто дядя Игорь наводит на них веселый лоск, волнительный румянец, учит заново ощущать вкус еды, остроту острого и соленость соленого. Ни слова о лабораториях, государственных заданиях, испытаниях, агрегатах, премиях, формулах, уравнениях, военной приемке, смежниках. Взрослые не слишком знали, о чем еще можно говорить, поэтому смешно конфузились, подливали вина или водки. Дядя Игорь пел под гитару песни, которых мальчик нигде больше не слышал, а потом включал проигрыватель, и с черной лаковой пластинки летели, кружась, танцевальные мелодии, настолько чужие, что ему казалось, он

слышит не музыку, а голос самой пластинки, состоящей из иноприродного, небывалого вещества.

Когда начинались танцы, детей отсылали – поиграть. Этого момента и ждал мальчик. Играли в прятки, так повелось с младшего возраста: только в квартире у дяди Игоря было достаточно укромных мест, чтобы прятаться и искать по-настоящему, долго и без поддавков.

Теперь дети подросли, поддерживали старый обычай как бы нехотя, от скуки. Но на самом деле игра обрела новый смысл: мальчики слушали девичье дыханье, девочки прятались за шторой, иногда нарочно подыгрывая, чтобы их нашли. В обволакивающей полутьме комнат просыпались первые чувства. Одна только, дальняя, в конце коридора, комната всегда была заперта.

Мальчик любил эти часы игр. Он прятался лучше других, умел остаться незаметным на самом виду. Девичьи силуэты его не волновали; у него был иной объект вожеления.

Тот, кто прячется, видит пространство как бы с изнанки, глазами вещей, стен, фотографий. Стараются слиться с местом, в пределе – стать его частью. Так и для него собственно прятки были лишь прологом к путешествию, к погружению в притягательное чужое, в жилье и житье дяди Игоря.

Он замирал, окруженный утратившими материальность, превратившимися в бархатные призраки вещами, которые, казалось, могут и заговорить в темноте, передать что-то через прикосновение. Дальняя запертая комната его не инте-

ресовала; он не думал, что у дяди Игоря могут быть буквальные тайны, скрытые за дверью. К тому же он хотел присвоить не какую-то скрытую, а повседневную жизнь дяди Игоря, его щегольскую, нескрываемую свободу поведения и суждений, его умение жить без опаски, держаться со всеми независимо – и в то же время быть всем нужным, всеми уважаемым.

В тот вечер в прятки играли долго. Азарт улетучился. Прячась в очередной раз, мальчик заметил, что та, всегда запертая, дверь – приоткрыта, из щели падает слабый лучик.

От внезапного предчувствия неслучайности происходящего перехватило дыхание.

– Я лишь загляну, – сказал себе мальчик. – Лишь загляну, и все.

В комнате горела настольная лампа. Наверное, ее оставил дядя Игорь или кто-то из домашних, забыли вернуться в спешке праздничных приготовлений. Ее свет, такой личный, сокровенный, знающий об одиночестве и мыслях дяди Игоря, манил неотвратимо.

“Мне же не запрещали сюда заходить, – подумал мальчик. – Скажу, что играли в прятки. Дверь была приоткрыта”.

Он медленно обошел комнату, внимательно рассматривая шкафы, книжные полки, рабочий стол. В углу громко тикали напольные часы с маятником, словно отмеряли то краткое время, что отпущено ему пробить здесь незамеченным.

Он захотел уйти, сделал три шага к двери; ему стало тревожно. Он понял, что все книги тут – книги химика. Те же

самые, что у отца. Только у дяди Игоря их было больше, отец знал только немецкий, а тут и английский, и французский. Мальчик снял с полки одну – да, тот же штамп закрытой библиотеки Института.

Отец, если работал дома, потом убирал со стола все бумаги. Если мальчику нужно было войти в его комнату, он сначала стучал, и отец переворачивал рабочие листы. Дядя Игорь оставил свой стол так, будто вышел всего на минуту: чай в стакане, остро, зло отточенный карандаш поверх листов. Печатные страницы, громоздкие соты формул, испещренные правками.

Мальчик отвернулся. В нем смешались разочарование и смутное упование. Дядя Игорь не мог быть коллегой отца. И он им был. Книги свидетельствовали, что он всего лишь штатский ученый, один из сотен в Городе.

Вдруг мальчик заметил, что из-за дверец платяного шкафа торчит, как уголок закладки в книге, небольшой треугольный краешек одежды. Военного зеленого цвета. С золотыми вышитыми листьями. Рукав, наверное.

Мальчик потянул за этот кончик, но дверцы были захлопнуты плотно.

“Скажу, что хотел спрятаться в шкафу, – решил он. – Мне же не запрещали”.

Мальчик медленно открыл дверцы.

От света лампы внутри шкафа, как внутри пещеры, куда спустился с факелом охотник за сокровищами, разгоралось

сияние.

Огнем блистали орнаменты золотого шитья. Золотом вспыхивали пуговицы. Золотом, багрецом, сталью и серебром – узоры орденов: сделанные из кроваво-красной эмали знамена и звезды, серо-стальные серпы и молоты, плуги и штыки, солдат с винтовкой; золотые колосья и листья, золотые буквы ленин.

В шкафу висел мундир. Весь в тяжелой круглой чешуе орденов и медалей от груди до пупа. На погонах сверкали одинокие большие звезды генерал-майора.

Мундир был маленький, почти детский, как раз для дяди Игоря. Без наград он смотрелся бы, наверное, даже комично. Но золотые, рубиновые, сапфировые отсветы наделяли его мощью чего-то сверхъестественного. Мальчик не мог себе представить, что должен был сделать человек, чтобы заслужить столько наград. И человек ли он? Герой? Высшее существо?

Фуражка на полке. Ремень. Пара сапог.

Другой дядя Игорь. Истинный. Имеющий право на особую жизнь.

Мальчик никогда не видел такие драгоценные вещи вблизи. Он провел пальцами по золотым, серебряным, рубиновым чешуйкам, холодным и тяжелым. В зеркале, прикрепленном изнутри к дверце, отражалось смятенное, ставшее от растерянности чужим лицо.

От мундира, увешанного орденами, слившегося с ними в

одно целое, исходила чистая, абсолютная сила. И мальчик не смог удержаться. Он уже не думал о том, что могут поймать, наказать, запретить ходить к дяде Игорю. Ему так хотелось причаститься этой силы, почувствовать себя в ней, что он снял мундир с вешалки и неожиданно ловким, будто украденным у хозяина, движением всунул руки в рукава.

Плечи согнула тяжесть. Под мундиром нужно было стоять, как под штангой в спортивном зале. Но тяжесть эта была несказанно приятна, она и обременяла, и защищала, облекала шелковой тонкой подкладкой.

Мальчик стоял и не узнавал себя, будто надел не чужую одежду, а чужие черты, характер. Знакомые с детства, затверженные символы, выбитые на орденах, словно сделали его частью чего-то неизмеримо большего, обширного, как звездное небо.

Он сделал шаг к зеркалу. И, ослепленный драгоценным сверканием, почти случайно заметил воинские эмблемы на отворотах мундира.

Не танки.

Не пропеллеры.

Не перекрещенные артиллерийские стволы.

Змея и чаша.

Золотая чаша, вокруг которой обвилась, подняв голову, змея, будто хочет отпить – или охраняет запретный сосуд.

Он никогда не видел такой эмблемы. Не знал, что она означает.

Среди звезд, серпов, молотов и штыков, орудий войны и орудий труда, спаянных воедино, как ему казалось, самой историей его страны и потому вычеканенных в орденах, змея и чаша были как бы из иного, древнейшего мира, когда человек еще только давал имена созвездиям. И мальчик догадался вдруг, что именно этот незаметный, непонятный символ – ключевой; он – закрытый, тайный – и объясняет ордена, генеральское звание, научную стезю дяди Игоря, связует все это в секрет исключительности, власти и силы.

Мальчик осторожно снял мундир и повесил обратно в шкаф, оставив уголок рукава торчать между дверцами. Навяждение не уходило. Блаженная тяжесть. Совершенная защищенность.

Он нашел свой кумир. Свой путь к тому, чтобы стать таким, как дядя Игорь.

Змея и чаша.

Через четыре года мальчик был первым учеником по химии. Начинались занятия в выпускном классе. И вот отец сказал, что накануне они пойдут к дяде Игорю – поговорить о будущем. Мальчик догадывался, что отец, добрый отец, тюрю, как звала его в сердцах мать, не желает ему повторить свою судьбу вечного второго, запасного. И мать совсем не хочет, чтобы сын стал лишь копией мужа. Они готовы отдать его – тому, кто умеет сотворять судьбы, менять их к лучшему, высшему, недоступному. Мальчик чувствовал и отвержение, и радость. Их жертва была ему сладка. Он уже пони-

мал, что змея и чаша, эмблема военных медиков на мундире дяди Игоря, – лишь маскировка. Он не врач. Он не изобретает лекарства. В их Городе многое было не тем, чем казалось, и мальчик, взрослея, принял это без смущения, с удивлявшей родителей готовностью.

Он ждал подробнейшего опроса, тщательно приготовился отвечать, рассчитывая показать свои знания. Но дядя Игорь задал десяток довольно простых вопросов, кивнул и сказал:

– Ладно, хорошо.

Мальчику казалось, что дядя Игорь изучает его. Смотрит чуть рассеянно, безразлично, взвешивая его на весах, чьих мер мальчик не знал и не мог представить.

Прощаясь в коридоре, дядя Игорь сказал как бы между делом:

– Рекомендацию на спецфакультет я напишу. Но при одном условии. Пусть приходит завтра утром к Третьей проходной. Я выпишу пропуск.

И родители, и мальчик остолбенели.

Третья проходная Института!

Их и было всего три. Каждый в Городе знал их.

Первая – где широкие ворота для машин и поцарапанные турникеты для рабочих. В бюро пропусков очередь, кто-нибудь пытается дозвониться по тугоухому внутреннему телефону. Документы проверяют пузатые вохровцы с револьверами в облезлых кобурах, пахнет скукой, потом, столовскими кислыми щами.

Через Вторую проходную ходил на работу сам отец. Застекленный вестибюль Института был занавешен плотными волнистыми шторами, и только когда на мгновение открывались двери, можно было увидеть серый мраморный холл, охрану в серых пиджаках. Картонные пропуска, годные для Первой, тут не годились. Только такие, как у отца: с фотографией, в темной дерматиновой книжице.

А Третья... Третья была просто железной дверью со звонком. Дверью в кирпичном торце дома без окон. Откуда-то все знали, что она ведет туда же, куда и другие две: во внутренний периметр Института, город в Городе. Напротив Третьей было запрещено останавливаться машинам, сразу подходил регулировщик. Рядом не строили ничего выше двух этажей.

Но кому принадлежала Третья, кто встречал пришедших за дверью – этого никто не знал. А кто знал, молчали.

– Ко Второй, – то ли переспросил, то ли поправил отец.

– Нет. К Третьей, – ответил дядя Игорь, мягко улыбнувшись. – В одиннадцать.

Мальчик почуял, что этот ответ по-живому режет нити, связывающие его с родителями. Отец не был за дверью Третьей. Не мог и надеяться там побывать. А он – будет.

Завтра.

В одиннадцать.

Утром отец дал ему свои наручные часы. Мальчику хотелось, чтобы весь мир знал, куда он идет. Но, как назло, про-

хожих попадалось мало, а возле Третьей улица и вовсе была пустынно. Хоть бы взгляд из окна, из проезжающего автобуса!

Секундная стрелка торопила. Мальчик поднес палец к звонку. Нажал. Кнопка оказалась очень тугой. Тишина. Вдруг ему показалось, что он может еще развернуться, уйти – к отцу и матери, в прежнюю жизнь. Он оглянулся. Пыльная улица. Какой-то высокий оборванец в черном, грязном ватнике остановился на углу, смотрит; откуда он тут взялся, это же Город, здесь нет бродяг! Мальчик вдавил кнопку что было сил. Внутри раздался резкий, похожий на сигнал тревоги звон.

Хмурый и удивленный прапорщик взял его новенький паспорт, переписал имя и фамилию. Пододвинул желтую тетрадь с закурчавившимися уголками: распишись. Позвонил по телефону, прокрутив две цифры на диске: 2–8.

Пришел другой прапорщик, сказал: следуйте за мной. В петлицах у него были те же змея и чаша. Сердце ушло в пятки от неброской близости тайны. Коридор. Обитая дерматином дверь. Узкий проход по двору, отгороженный кирпичной стеной; за ней кто-то скулит. Собаки, что ли? Следующая дверь. Вытертый линолеум на полу. Запах неубранного класса после каникул. Окна, в которые видно только высокие кирпичные стены. Лабиринт. Ему стало зябко. Он уже потерялся в пространстве, перестал ориентироваться относительно улицы.

Сейфовая дверь. Большая пустая комната. Следы на обоях – тут раньше были стеллажи. Мальчик был растерян и огорчен. Где приборы, где лаборатория, где, наконец, тайна?

Из двери напротив вышел дядя Игорь в простом синем халате. Еще один, другой дядя Игорь. Поманил двумя пальцами: иди за мной. Темным, пыльным коридором они попали в раздевалку, где стояли необычные, широкие металлические шкафы для одежды, сбоку – душевая, ситечки душей размером с головку подсолнуха.

– Когда-то мы тут переодевались, – сказал дядя Игорь. – Дальше начинается чистая зона. Теперь этого места нет. На бумаге этот корпус давно снесен, чтобы построить новый. Да вот строители припозднились. Этого места нет, понимаешь? Поэтому я могу привести тебя сюда.

Мальчик стоял, слушая каждое слово.

– Твой отец хороший химик, – сказал дядя Игорь. – Но он боится того, что исследует. Боится. Поэтому я никогда не возьму его в свою лабораторию. А ты боишься?

– Нет, – ответил он, не успев даже подумать.

– Открывай крайний, – дядя Игорь указал на шкафчики.

Мальчик открыл. Внутри, стиснутое стенками, было нечто: зеленая резиновая шкура, сращенная с противогазной маской. Он выволок ее, тяжеленную, скользкую от тальковой присыпки, похожей, как ему казалось, на чешуйки прошлогодней змеиной кожи.

– Надевай, – сказал дядя Игорь.

Он кое-как вставил ноги в резиновые штанины, набросил скафандр на себя. Горло сжал тугой и жесткий воротник. Запястья перетянули манжеты. Дышалось с трудом, перед глазами поплыла дымка. Руки дяди Игоря выпрямили ему спину, застегнули, завязали нахлестом ремешки на руках и ногах – и он остался внутри, в резиновой утробе, будто живой детеныш в туше издохшей рептилии.

– Повернись. Посмотри в зеркало, – донесся будто изда- лека голос дяди Игоря.

Он неловко шагнул, будто лишь учился ходить, переставил громоздкие сапоги. Он отчаянно хотел прочь из резино- вого чрева, из скользких его, мертвящих объятий.

– Посмотри на себя, – повторил из глубины дядя Игорь. Сквозь запотевшие окуляры маски он едва нашел зеркало. На него смотрело чудовище. Жуткий болотный урод с тупыми кругляшками глаз, безротый, безликий, чужеродный всему живому, не знающий схожести и родства.

Он. Другой он. Особый. Неузнаваемый.

И вдруг мальчик почувствовал несказанный покой, выс- шую защиту, которые дарил этот скафандр.

Резиновые складки больше не давили. Горло привыкло к хватке воротника. Мальчик стоял, не ощущая веса многих килограммов резины, будто парил. Оно в зеркале – было им, и он хотел, чтобы слияние не кончалось. Это было восхити- тельнее увешанного орденами мундира дяди Игоря, острее всего, что он чувствовал в жизни.

В этом обличье он ничего не боялся. Как дядя Игорь.

Когда мальчик вылез наружу, потный, покрасневшийся, перемазанный тальком и какой-то скользкой пастой, совершенно счастливый, дядя Игорь широко улыбнулся и похлопал его по плечу.

– Это наш старый костюм. Мы начинали с таких. Иди, тебя проводят. Рекомендацию я напишу. Закончишь с отличием – возьму к себе.

Он замер, не верил. Дядя Игорь мягко подтолкнул его в мокрую спину: иди, иди.

Глава 4

Подполковник Шершнев взял отгул. Он ехал праздновать день рождения сына. Шестнадцать лет. Последний год в школе. Жена разошлась с ним после третьей командировки на Кавказ, когда Максиму было три. Теперь у нее был второй брак, у Максима – сводная сестра. Шершнев хотел бы убедить себя, что их с Мариной развела война. Обычная офицерская история, не он первый, не он последний. У них в отделе в те годы было много разводов. Страна жила так, будто никаких сражений на ее территории не было. И жена, повторял себе Шершнев, просто переметнулась к большинству, не желавшему знать о крови и грязи, о военной страде и жертвах.

Однако убедить себя до конца не удавалось, и это беспокоило не терпящего неоднозначности Шершнева.

Он не жалел ни о чем, что сделал на той войне – и на других, последующих.

Был лишь один случай, который Шершнев считал, наверное, неправильным, чреватым. Слов точнее он не умел подобрать. Неправильным – не в нравственном смысле, угрызения совести его не мучили. Если говорить сугубо о морали, он и снова поступил бы так. И все же он чувствовал какое-то нарушение, допущенное тогда, какой-то вывих судьбы, не впрямую, но предопределивший уход жены, посте-

пенную потерю контакта с сыном, пошедшим, как казалось Шершневу, в чужую, тонкокостную, кисейную породу.

Марина была слишком, до ворожбы, чуткой, могла угадать нечто, выхватить из воздуха – и передать, сознательно или бессознательно, это знание сыну. Она не запрещала им встречаться, наоборот, сама иногда просила подъехать, провести день с Максимом. Но Шершнев ощущал, что сын не просто отдаляется, взрослея; он будто знает что-то об отце, чего знать не должен, и как бы спрашивает порой, напрашиваясь на ссору, на резкость: кто ты на самом деле, отец? Каково твое истинное лицо? Что ты делал на войне?

Мысли, что ему есть чего стыдиться, Шершнев категорически не допускал. Он считал свою совесть чистой.

И все же он десятки раз возвращался в мыслях в ту ночь, в тот судовой контейнер на задворках военной базы, служивший и камерой, и допросной. Вспоминал запах крови и рвоты; кто-то из сослуживцев шутил, что у врага и блевота, и дерьмо воняют по-другому.

Тусклый свет, прикованный наручниками к стенке нагой человек в противогазной маске. Повторяющиеся вопросы: кто, когда, где. Крик, шепот, проклятия, плач, скулеж. Лейтенант Евстифеев пережимает патрубок, по которому идет воздух в маску.

Знакомое чувство власти: превратить узника в безымянную куклу с резиновой безликой головой, заставить голое, раскрытое мукам тело откликаться на ритмичный и неумо-

лимый язык боли: кто, когда, где? Свобода не прятать лица, умножающая эту власть, делающая ее сугубо личной и потому особенно острой, дурманящей.

Ныне Шершневу искал в памяти иной выход из контейнера, из четырех железных стен его. Он не раскисался, даже не сожалел о пытках, о раздавленных пальцах, сломанных ребрах, выпученных от удушья глазах за помутневшими стекляшками противогаса.

Но он должен, обязан был сразу догадаться, что агент просто сводит их руками свои счеты. Шершневу долго искал полевого командира, которого приказано было уничтожить. Наконец один из агентов указал якобы на командирского связного. А на самом деле подставил Шершневу пустышку, бессмысленного, ничего не знающего подростка, опьяненного ненавистью к солдатам; последнего мужчину в роду, что давно враждовал с родом агента.

Но Шершневу сорвался, непозволительно увлекся ловчим азартом и поверил, поверил, что пленник, пусть и совсем соплик, знает, где командирский схрон.

Все было напрасно. Их тяжелое упорство в пытке. Его юношеская, обрядовая гордость, не позволявшая признаться, что он – не тот.

Их скудная изобретательность.

Его долготерпение жертвы.

Когда он наконец сломался по-настоящему, заговорил без утайки, Шершневу мгновенно понял, как и кому позволил се-

бя обмануть.

Мальчишку, наверное, еще можно было попытаться спасти. Отдать или продать родственникам, что день и ночь стояли у ворот базы, передавая из рук в руки затертые, неизвестно кем составленные списки. Так и поступали иногда со второстепенными арестантами – за живого давали гораздо больше денег, чем за мертвого.

Но Шершневу распорядился, чтобы мальчишку добили и похоронили в тайной яме за цементным заводом. Ошибка была слишком позорной.

Хорошо еще Евстифеев – недалекий, исполнительный чурбан – так, похоже, ничего и не понял. А если бы мальчишка заговорил, узнали бы и местные, и сослуживцы: слухи тут быстро расползаются.

Военные могли арестовать любого и выбить какое угодно признание; это было в порядке вещей. Но офицер, который купился так, как купился на разводку агента Шершневу, превратился бы для своих в лопуха, для чужих – в посмешище; заработанный авторитет улетучился бы в мгновение ока.

Шершневу не дождался исполнения приказа. Уехал. Вернувшись через неделю, спросил у сержанта Капустина, пьяницы, блудодея, палача, торговца пленниками: “Сделано?” И получил ожидаемый ответ: “Сделано, сделано, капитан”.

Капустин мог себе позволить тыкать старшим по званию. Он вел денежные дела с такими звездами, что четыре капитанские звездочки Шершнева смотрелись бледно.

Агента, который его подставил, Шершневу наказать не мог. Тот состоял на связи не только у него. Да и был не совсем осведомитель, странный типаж длительного военного безвременья, успел повоевать на обеих сторонах, завести насквозь темный – а другого и быть не могло – бизнес с армейскими, теперь ему прочили хорошее, не в первых рядах, но хорошее место в новой администрации. Агент, впрочем, молчал о том, как обхитрил капитана; не хотел, чтобы семья мальчишки узнала, кто его выдал федералам.

Так Шершневу и остался с кровью, пролитой напрасно. С изуверством, которое ничему не послужило. С ощущением, что сглупил в горячке охоты, взял щенка вместо волка, опозорился перед всем миром. Потратил тяжкую, дорогую деньгу смертной пытки на юнца, которому цена копейка.

Были в его подразделении и те, кто не понял бы сомнений Шершнева, рассудил просто: одним больше, одним меньше. Шершневу же простил бы себе попадание “в молоко”. А вот промах стрелка, умеющего направить пулю, но не умеющего отличить истинную мишень от ложной, – нет.

Евстифеев погиб через полгода. Нарвался при обыске на очередь из подпола. Капустина убили то ли чужие, то ли свои, когда он повез на цементный завод очередные трупы. Шершневу не считал, что это особенное совпадение. Война есть война. Он испытал только тайное облегчение, узнав от сослуживцев, что невольные свидетели его ошибки мертвы, – Капустин-то был пронырой, нюхачом, знал всех и вся,

наверняка понял, как агент ловко поимел капитана.

Через месяц после возвращения домой Марина сказала ему, что беременна.

Шершневу знал разные ночи с ней. Умел, как ему казалось, различать, что происходит в сексе помимо самого секса, какое иное значение иногда получает плотская любовь.

Он особенно помнил одну ночь, точнее, поздний летний вечер. С утра поехали за город собирать грибы, видели, как у метро продают корзинами молодые опята. Но ничего почти не нашли, все уже срезали местные, рано вставшие грибники. Только папоротники были заломаны, затоптаны около пней да белели во мху кучные срезы опят.

Зато была река, качающийся навесной мост, купание в стремительной воде, неожиданно теплой, пронизанной от поверхности до дна мерцанием рыбьих стаек. Был день больше, просторнее, важнее других. А когда они вечером занимались любовью, Шершневу и буднично, и остро ощутил, что в такие, будто с особой пометкой, дни и начинаются любимые, посланные дети.

Потом у Марины была задержка – будто телесное эхо, легкий всплеск мироздания. Но тест дал отрицательный результат. А вскоре он уехал в первую военную командировку, заставившую позабыть и мост, и реку, и объятия.

Ночь по возвращении была отравлена жалкой, бесполой наготой, которой Шершневу досыта навиделся в контейнере. Ночь без ласк, без нежности. Он страстно хотел кончить,

будто выплеснуть в лоно жены все произошедшее с ним; не замечал, что Марина стонет уже от боли, а не от наслаждения.

Потом Шершневу заново привыкал к незащитному, отданному ему во власть телу жены; они снова и снова занимались любовью, узнавая себя прежних. Но он внутренне знал, что Максим был зачат в ту, самую темную, самую первую ночь.

Вчера Максиму исполнилось шестнадцать. Шершневу предложил свозить его с одноклассниками за город, на шашлыки, надеялся, что Максим оценит. А сын неожиданно попросил в подарок пейнтбольный матч на полигоне, который он сам выбрал.

Шершневу сказал “да”, арендовал автобус. Марина и ее новый муж были против, боялись травм. Только поэтому Шершневу и согласился. Идея ему не очень нравилась. Максим знал, что его отец военный, что он бывал на настоящей войне. Но они никогда не говорили об этом; даже о том немногом, что Шершневу имел право рассказать.

Он не связывал судьбу сына с судьбой того, теперь безымянного, мальчишки, брошенного в яму на цементном заводе. Однако само совпадение – тот умер, а Максим был вызван к жизни, – оказалось слишком явным, чтобы Шершневу мог его игнорировать.

И вот Максим сам попросил поиграть в войну. Почему? Зачем? Шершневу подсознательно чувствовал в этой прось-

бе нехорошее сближение двух миров, которые он суеверно предпочитал удерживать на дистанции друг от друга. Пусть даже и пули в пейнтбольных ружьях были игрушечными. Хотя сослуживцы, знавшие кое-что о его семейных проблемах, порадовались: наконец-то парень показал натуру, отцовские гены взяли свое. Сыграете вместе. А Шершневу было уверенно, что Максим попросит отца сыграть против него.

На Максиме он построил объяснение всему, что совершил: ради его мирной жизни. Шершневу не мог признаться себе, что сын важен и нужен ему только как оправдание. И теперь ждал какого-то мстительного подвоха, рикошета из прошлого.

Но и отказать не мог.

Заметив рекламный щит “Территория X, пейнтбольный полигон”, Шершневу свернул с трассы. До поездки у него не нашлось времени изучить, куда, собственно, они едут. Наверное, заброшенные склады или старый санаторий, превращенный в потешные для понимающего человека декорации поля боя или мира ядерного постапокалипсиса.

Шершневу видел Грозный после двух армейских штурмов. Разбомбленные в щебень пригороды Дамаска. Сожженные села. Он заранее ощущал высокомерное превосходство. Ведь всей биографией, от училища до службы, он был выучен считать источником значимого опыта в первую очередь насилие, уважать его неподдельность, его истинные не проходящие следы.

Он посмотрел в зеркало заднего вида на сына и его товарищей. Птенцы. Мальки. Головастики. Он внезапно захотел ткнуть их носом в настоящие копоть и грязь, завернуть за поворот, где будет не пригородный истоптанный лесок, а выпотрошенное после зачистки село, в котором не осталось жилого духа, добрососедских прозрачных тайн, ибо все двери выбиты, занавески сорваны, шкафы выворочены, и в каждую щель заглянули глаза солдат.

Морок обезлюдевшего села вызвал, вытащил на свет злое, стойкое чувство хорошо слаженной облавы. Сколько раз они подъезжали так, в первые годы только на броне, а потом и в автобусах, проверяя оружие, готовясь окружить и ворваться! Он даже угадал суть, ритм этого чувства в стихотворении, что читал им на служебных курсах английского въедливый старик – преподаватель, знавший еще легендарных нелегалов времен Кембриджской пятерки. Поэзия обычно не интересовала Шершнева. Стихи со школы были его казнь, падалились в памяти, как мякина; он не мог понять, зачем люди их сочиняют, что это за странная прихоть. А это – единственное в жизни – он запомнил без повторения, так точно легло оно на рельеф его души. И теперь прошептал под нос, радуясь, что, как и прежде, может распознать свое в звуках чужого языка:

O what is that sound which so thrills the ear
Down in the valley drumming, drumming?

Only the scarlet soldiers, dear,
The soldiers coming.

O what is that light I see flashing so clear
Over the distance brightly, brightly?
Only the sun on their weapons, dear,
As they step lightly².

Шершневу хотелось продолжить, но осекся. Они приехали.

Пейнтбольный полигон располагался в бывшем пионерском лагере.

Шершневу надеялся, что не придется играть среди контейнеров. Однажды он с коллегами выбрался развеяться, а оказалось, что полигон имитирует битву в порту. Дешево и сердито, набрал списанные контейнеры по цене металлолома, расставил в чистом поле, и вот тебе лабиринт. Владельцы сказали, что так многие делают, самый дешевый способ, главное – землю арендовать. Коллеги, что бывали на той войне, поухмылялись, постучали прикладами по ребристым бортам – гулко внутри, пусто; и Шершневу радостно ощутил то цепкое, общее, о чем не стоило говорить вслух. Но играть с Максимом в таком антураже он не хотел.

И получил другое.

² О, что там слышен за дробный звук, Будто бы грома раскаты, раскаты? – Это солдаты идут, мой друг, Идут солдаты. О, что это там засверкало вдруг? Издалека этот блеск так ярко! – Солнце на ружьях блестит, мой друг, Свет его жарок. (У. Х. Оден, перевод Е. Тверской)

Пионерский лагерь. Узнаваемый, типовой. В таком – на территории отцовского гарнизона – бывал сам Шершнев в детстве. Будка у ворот. Одноэтажные отрядные корпуса, крашенные желтой известкой, которую можно соскрести, развести водой и превратить в маркую жижу, чтобы плескаться ею друг в друга из консервных банок. Заросший травой плац с флагштоками. Бюст Ленина, выкрашенный серебряной колкой краской. Кирпичная приземистая баня. Клумбы из шин перед зданием администрации. Громкоговорители на столбах...

Потянуло дымком – поодаль жгли костры, чтобы создать мнимую атмосферу боя. Максим пошел в контору, он хотел сам оплатить матч, пусть и отцовскими деньгами. Друзья ждали у автобуса. Шершнев думал, они закурят, но никто не смолил. Он один достал сигарету, затянулся, выдохнул, отгоняя дурное предзнаменование, глядя в два пласта, два времени памяти.

Вот он командир пионерского звена. Они играют в лагере в “Зарницу”, которой ждали всю смену, ползут, таясь за криво стриженными кустами, к штабу “синих”, расположенному в двенадцатом корпусе, слышат, как отдает указания чужой генерал, пионервожатый Веня Вальков, предчувствуют, как забегут внутрь, срывая с рубашек врагов пришитые на тонкую нитку синие лоскуты, и противники, досадуя, злясь, садут на пол там, где их застигла понарошечная смерть.

А вот – внахлест, враспор – те же асфальтовые дорожки,

запущенные кусты, желтобокие корпуса, баня красного кирпича. Только стенды с красно-белыми лозунгами прострелены, сожжены. На флагштоке висит самодельное знамя с оскалившимся волком. Тот же лагерь, та же надпись “юный ленинец” крутой дугой поверх ворот. Только лес вокруг другой, не разреженный сосновый, а густой лиственный, крученный, искривленный нутряным тяготением гор. Неподалеку течет бурная горная река, и рокот ее родственен голосам тех, кто занял теперь лагерь: будто кто-то собрал, сплавил воедино все самые чуждые, режущие слух звуки.

А он – командир звена, малой группы. Его дело сейчас наблюдать, потому что все уже предрешено, обработанные четки в резном ларце уже переданы, деревянные, грубо полированные четки, дерево так хорошо впитывает ароматические масла, заглушающие слабый запах спецпрепарата...

Шершневу очень удивился, когда ему дали под роспись придуманный руководством план. Осторожно сказал, что проще было бы навести ракету или ударить с вертолетов. Он не хотел рисковать группой, операцией ради чьих-то ученых степеней, ради полевых испытаний допотопного, отдающего театральным фарсом оружия – еще бы заставили из луков стрелять или сражаться кинжалами. Но теперь он буквально чувствовал движение скрытых в ларце четок, предчувствовал, как чужие руки откинут крышку, вынут нанизанные на суровую нить бусины, фальшивый, подмененный дар, пропустят, ощупывая, между пальцами, и раздастся верещащий,

не знающий мужского стыда крик отравленного.

И когда однофамилец запытанного им мальчишки, долгожданный враг, полевой командир, а в недавнем прошлом – председатель колхоза “Рассвет”, ровесник Шершнева, закричал тонким подголоском своей беды, майор вознес языческую, хулительную, остервенелую хвалу Творцу – творцу той неприметной смерти, что напитала четки.

Он получил орден и следующее звание. Но дальше его стали несколько придерживать, как бы отложили в сторону, словно оправдавший свою мудреную форму, но редко нужный инструмент. На обычные задания чаще отправляли других, а по той особой линии операций больше не было. Во всяком случае, в их отделе.

Другие медленно, но верно обгоняли его в чинах, наградах, в неформальном рейтинге оперативников. Его же карьера оказалась отмечена тем загадочным веществом, о котором он ничего не знал, хотя давал перед рейдом отдельную подписку о неразглашении – в дополнение к обычным. Где-то наверху обращались тайны и приказы. Где-то в лабораториях их ведомства химики, думал Шершнев, продолжали создавать препараты. А подполковник ждал, когда одно совместится с другим: приказ и препарат, он – и следующая цель.

Шершнев докурил, растоптал окурочек. Решение пришло само собой: сегодня он позволит сыну подстрелить себя. Не убить, но ранить. Так нужно. Пусть Максим увидит кровавую краску на теле отца, почувствует радость и смущение.

Это красное пятно, этот удачный выстрел станет их первой взрослой историей, которую они будут вспоминать потом, – как ловко я тебя, ах, как ты меня.

Шершневу натянули игровой комбинезон. Команды разделились. Одним предстояло штурмовать “базу” – старый отрядный корпус, другим – защищать. Шершневу выдался в атаку. У них будет больше потерь. Он хотел как-то напутствовать сына, но, пока подбирал слова, Максим уже закрыл забрало шлема, показал ему два пальца – V, победа.

И снова Шершневу лежал за деревьями, глядя на желтые домики. Полз, стрелял, командовал своими подопечными: влево, вправо, обходи. Конечно, он играл в треть, в четверть силы, нарочно мазал или вовсе пропускал выстрел. Он мог бы перебить тут всех за десять минут, даже с неудобным пейнтбольным ружьем, стреляющим не прицельно и не далеко. Но дурачился, пытаясь сломать, пересилить годами выверенные навыки, заставить себя взять неверное упреждение. Шершневу искал глазами, где может быть Максим, пару раз, казалось, примечал его фигуру в проеме окна, его шлем с номером один. Форма у всех была одинаковая, шлемы тоже, и Шершневу волновался, как бы не ошибиться, как бы не допустить, чтобы сына “убил” или “ранил” кто-то из его игроков; незаметно встраивал в игру свою запланированную хитрость.

Обороняющиеся отступили внутрь здания. Шершневу перебежал, прижался к стене, прислушался и нырнул через

подоконник. Он хотел добраться до сына невредимым, попутно проредив его команду, чтобы победа Максима выглядела веселее.

Но оказалось, что узкие коридоры завалены металлическими кроватями, тумбочками, стульями. Тут пришлось непросто даже ему. И Шершневу незаметно для себя завелся, вошел в ритм и раж. Свалил одного точным выстрелом прямо в забрало шлема, залившееся красным. Подсек очередью по ногам, добил другого. Ответный выстрел ударил в стену рядом с головой.

Отвлекая внимание, Шершневу швырнул в коридор спинку стула. Выскочил сам. Заметил боковым зрением движение сбоку, в казавшейся пустой палате. Ударил очередью, почти в упор, зная, что на такой дистанции шарики бьют очень больно, но уже не умея остановиться. Ударил так, как ударил бы в настоящем бою, с подъема, вертикалью от паха до шеи, в два шага подбежал добить, навел дуло...

Выстрела не было.

Патронов в магазине пейнтбольного ружья было меньше, чем в привычном автоматном рожке.

На шлеме игрока была цифра 1. Максим, опрокинутый на спину, заляпанный бутафорской кровью, стонал и пытался отползти, отталкиваясь ногами от скользкого линолеума. Краска лишь чуть брызнула на пластиковую заслонку шлема. Оттуда смотрели на Шершневу безумные от боли и страха глаза.

Шершневу мог еще все исправить. Опустился на колени. Обнять, прижать к себе. Попросить прощения. Объяснить, что с ним произошло, признаться, что это дурная мысль – играть в пейнтбол с профессиональным военным. Но та же недобрая сила, что управляла пальцем на спусковом крючке и охотно отзывалась маршевому ритму – *Only the scarlet soldiers, dear, the soldiers coming*, – эта сила развернула Шершнева прочь. Его сын не мог так скулить, так бояться. А главное – не мог, не имел права так смотреть на отца.

Шершневу вышел в коридор. Противников больше не было. Он выиграл схватку, которую хотел проиграть.

В кармане комбинезона беззвучно вибрировал телефон. – Ты? Завтра к восьми в Управление. Принял? Отбой.

Глава 5

Врачи в госпитале относились к Калитину подчеркнуто уважительно. И дело было не в дорогой страховке. Врачи считали, что Калитин – бывший их коллега, и поначалу ждали придинок. А он оказался идеальным пациентом: не нервничал, не задавал вопросов, не звал дежурную медсестру по ночам, легко переносил процедуры.

Они думали, что он не боится.

А Калитин боялся. Так, как лишь однажды в жизни, в одну из долгих зим детства. Они только-только переехали в Город, получили двухкомнатную квартиру с кухней и ванной – она казалась ему огромной после закутка в коммуналке. Он пошел в новую школу – там все оказались такие же новички, не было, как в старом классе, здоровенных второгодников и третьегодников. Жизнь казалась ясной и ободряющей.

И вдруг с отцом и матерью стало происходить что-то необъяснимое. Вечерами родители зачем-то накрывали кастрюлей телефон – у них теперь был свой телефон – и закрывались на кухне. Там рьяно шумела льющаяся в раковину вода, громко и торжественно говорило радио: сегодня вся страна... А голоса родителей были едва слышны: чужие, отстраненные. Он прятался в коридоре за ветхой и линючей, бабушкиной еще, шубой, стараясь разобрать хоть слово.

Мать была хирургом. Еще недавно она с гордостью рас-

сказывала, как хорошо оснащено ее новое операционное отделение. Теперь она хотела срочно уехать. Отец уговаривал остаться.

– У тебя же моя фамилия, – говорил он тихо.

– Думаешь, у них нет моей анкеты? – отвечала мать.

– Все обойдется, – неуверенно говорил отец. – Смотри, меня назначили старшим сотрудником. Дали допуск. Первая категория! Разве я бы его получил, если бы нас в чем-то подозревали? Квартира. Зарплата. Паек. Утвердили тему диссертации.

– Ты читал, что пишут в газетах? – с желчью спрашивала мать. – Врачи-убийцы! Я училась у одного из них, понимаешь ты или нет?

Отец смолкал. Потом говорил:

– Игорь поможет.

– Как бы Игорь сам не загремел, – безрадостно, тускло отвечала мать. – Это только начало.

Эти ночные слова сокрушали то невидимое, теплое, мягкое, что было его домом, оставляли зияющие проломы, откуда веяло неизвестностью и страхом. Ему начало казаться, что на него странно смотрят некоторые учителя – будто знают что-то. Страх стал приправой всех блюд, тенью всех чувств, эхом всех звуков. Страх убрал из мира перила, подпорки, украл привычное чувство равновесия, отнял ловкость.

Поэтому он и упал в раздевалке после урока физкультуры. Запутался в штанах. Неловко смахнул со скамейки чужую

холщовую сумку. Из нее вывалились сменные вещи – и пачка замусоленных фотокарточек с обкусанными, надорванными углами.

Стоявший рядом Вовка Сапожок, классный петрушка, подскочил, заглянул через плечо, присвистнул от изумления, сально, гаденько причмокнул.

Карточки рассыпались внахлест, вперемешку. Голые ноги, груди, зады, черно-белая глянцевая плоть, чулки, страусиные перья, кисейные занавеси, диваны, туфли. Женщины на спине, на корточках, на коленях. Нагие мужчины в черных шляпах. Темные заросли волос между дебелых женских ног. Члены во ртах. Обнаженность не самих тел, а запретной, закрытой одеждами повседневности настоящей жизни мужчин и женщин, страшущая серьезность происходящего там, на фото, будто он увидел роды или смерть. И – странные, нездешние наряды, украшения, словно из сказочного театра, из потустороннего ритуала, из выморочного мира, которого больше нет.

Он смотрел, обмирая. Затих, наклонился вперед Сапожок, прижался к плечу, будто в любовной истоме.

В раздевалку ворвались голоса. Старшеклассники, волейбольная секция. Высоченные, мокрые от пота, злые после игры. Сапожок первым почуял неладное, попытался отскочить, но лишь повалился ему на спину, стал елозить по заду, как суетливый и малорослый дворовый кобель, а потом откатился, юркнул куда-то.

Старшекласники заготовали, загыкали, но вдруг при-
молкли.

– Ах ты крыса, – тяжелый удар отбросил мальчика к ска-
мейке.

Мальчик знал этот голос. Сын полковника Измайлова, во-
енного коменданта Города. Он видел его с отцом в гостях
у дяди Игоря. Подслушал там разговор взрослых, рассказы-
вавших, что полковник после войны был послан в Германию
демонтировать научное оборудование и привез оттуда “мно-
го интересного себе лично”.

Интересное... Мальчик понял, что Измайлов-младший
взял эти фотокарточки у отца. Взял наверняка тайком. И ес-
ли их найдут, если войдет сейчас учитель...

Он опи́сался.

Измайлов поднял его за шкуру. Фотокарточек на полу
уже не было.

Чернявый, крутолобый, сын коменданта смотрел на него,
но скрытно косил взглядом по сторонам – похоже, не всем в
команде верил. Да еще и младшекласники рядом.

– Вякнешь кому, убью, паскуда! – Измайлов толкнул его
в угол раздевалки.

И прежде, когда в семье был мир, мальчик не стал бы ни-
чего рассказывать родителям. Как доказать, что он не хотел,
не собирался воровать эти карточки? Как признаться, что он
вообще их видел?

А теперь мальчик чувствовал, что даже признайся он –

родители не услышат, не снизойдут.

Им не до него.

В последующую неделю Измайлов трижды как бы случайно встречал мальчика около двери класса. Просто стоял и смотрел. В его взгляде проступала крутая порода отца, который так же спокойно сидел за столом, любезно оглядывая собеседников, и люди как-то подбирались, откладывали вилку, начинали зачем-то тереть пальцем ножку рюмки. Мальчик вспоминал черно-белые, покорно изогнутые тела, мужчин в черных цилиндрах, руку Измайлова, его злой и горячий шепот – и чувствовал, что не в его силах отлепиться от этой памяти.

И вот снова наступил день, когда последний урок физкультуры совпадал с занятием волейбольной секции. Раньше он сумел бы увильнуть, например, загодя простудиться, наглотавшись снега, и остаться дома. Но хитрить уже не получалось. Для этого были нужны маленькие, но наличные силы, которых не получишь в кредит, сегодняшняя веселая сметка. А мальчика мучили страх и вина: ведь если бы он не задел, падая, сумку Измайлова, ничего бы не было.

Он отсидел уроки. Надел слишком длинные, плохо смазанные лыжи с расшатанными креплениями.

Кросс.

Первый круг он пробежал даже с охотой, сам удивляясь, откуда это безразличие, глуповатая, безропотная сноровка тела – вопреки и лыжам в заусенцах, и ужасу впереди. По-

тянул ветер, слабый морозец ослаб еще чуть-чуть, и снег на лыжне, пусть и укатанный, утрамбованный, стал липнуть к худо просмоленным лыжам.

Началась сырая метель. В белесой круговерти скрылись фигурки одноклассников, здание школы. Снег налип тугим горбиком на правую лыжу, мальчик дернул ногой, и шурупы крепления выскочили из разболтанных гнезд, приснув ржавой древесной трухой.

Он стоял, одна нога с лыжей, другая без. И вдруг понял, что в его жизни нет такого добра, которое охранит от Измайлова, ждущего в раздевалке. Знание это было очевидным и окончательным, как приговор, очень взрослым. И мальчик безмолвно воззвал, попросил у метели, у неба, у кого угодно: спасите!

Мир, казалось, не ответил.

Он снял вторую лыжу и покорно пошел к спортзалу.

На крылечке никого не было. Волейбольная сетка в зале еще чуть-чуть покачивалась. На судейском стульчике лежал свисток. Мяч закатился в угол.

Казалось, он вошел в какую-то опасную прореху в метели, попал в мир-близнец, где нет людей. Если бы началась война, по всему Городу завывли бы сирены воздушной тревоги. Враг напал внезапно?

Он заглянул в столовую. На столах стаканы с чаем, недоеденные куски хлеба. Пахнет пригоревшей гречневой кашей. Старая кошка Дуська сидит у бака, куда сбрасывают очистки

и кости.

Дверь в актовЫй зал была приоткрыта. Из-за нее доносились придушенные всхлипы.

...В зале темно, горят лишь несколько ламп у сцены. Там учителя, ученики, сторож, поварихи. На сцене директор. Он поднимает вверх единственную руку, будто тщится схватить, удержать кого-то улетающего, и тем голосом, каким посылал в атаку свой танковый батальон, кричит:

– Минута молчания окончена! На колени! На колени! – и сам опускается первым, и все опускаются.

– Помянем, – голос директора срывается. – Помянем нашего... Дорогого... – давний косоЙ шрам, идущий через висок и щеку, белеет, лицо наливается дурной кровью. Давняя контузия, удар немецкого снаряда по танковой башне, вновь оглушает его, он оседает, простодушная повариха вскрикивает:

– Убили! – И все начинают рыдать, слово “убили” будто высвобождает плач.

Кто-то кладет руку на плечо. Это Измайлов. Рот перекошен, в пустых, ошалелых глазах слезы. Мальчик чувствует, что сам он тоже плачет. Измайлов встает, бредет куда-то. Люди поднимаются будто оглушенные, цепляются друг за друга.

В центре сцены висит портрет человека с усами. Мальчик знает, что Город был основан по его прямому приказу. Портрет перечеркнут широкой черной лентой в углу.

Верящий в бессмертие этого человека, этого имени, мальчик не может осознать, что тот на самом деле мертв; уменьшился до испутившего дух тела. Ему кажется, что тот умер не по-настоящему, пожертвовал собой на час, на день, чтобы отвратить возмездие Измайлова, спасти его, ничтожнейшего из ничтожных. Его охватывает безудержная волна счастья и боли, желания в ответ пожертвовать собой, отдать всю свою жизнь, нынешнюю и будущую, благосклонной силе, воплощенной в таком привычном, таком родном портрете. Он рыдает неистово, выплескивая страх, потолок опрокидывается, лампы летят косым кругом.

Тьма. Безмятежность.

Колкий, стеклянный запах нашатыря.

Измайлов больше не подходил к нему. А в конце лета исчез из Города. Вместе с отцом-комендантом.

Отец и мать больше не запирались вечерами на кухне и не накрывали кастрюлей телефон. Мать снова начала хвалить свою новую операционную.

– Сняли, сняли Измайлова, – подчеркнуто равнодушно сказал дядя Игорь, когда они пришли в гости. – Оказался сообщником врага народа Берии.

А мальчику казалось, что все это сотворила та благая сила, которой он сумел дозваться. Он знал теперь, что человек с лицом портрета на самом деле умер, умер окончательно. Зато он угадал, различил присутствие той же силы в дяде Игоре, в его простом, сияющем слове “сняли”, в котором

скрывалось торжество, потаенное, великое знание причин и следствий.

В госпитале Калитина грыз тот же детский страх одиночества и оставленности.

А вот спасительной силы больше не было. Все ее миражи развеялись, исчезли, как знамена и гербы страны, где он родился.

Оставалось только послушание пациента. И размышления, в которых он пытался рационализировать свой страх, найти путь и опору для безусловной, а не иллюзорной надежды.

...Калитин отложил газету, которую перечитывал. Он не любил читать с экрана, глаза уставали слишком быстро, и сделал чтение бумажных газет частью своего образа: консервативный ученый на пенсии, эмигрант, не сумевший достичь прежних высот на исторической родине и ушедший на покой.

А еще он инстинктивно опасался компьютеров, смартфонов, собирающих и хранящих метаданные; старался не использовать виртуальные поисковые машины, запоминающие запросы; не верил ни VPN-протоколам, ни шифрованию.

Только анонимная бумага – свежий выпуск, купленный в табачном киоске.

Теперь газеты ему приносил персонал госпиталя, уважительно подшучивавший над одиноким стариком: кто бы еще

мог так спокойно перелистывать суетные страницы новостей, имея подозрение на неоперабельный рак, ожидая, что вот-вот станут ясны результаты обследования и окончательный диагноз?

Химик по образованию, Калитин многое знал о человеческом теле, но с одной узкой, специфической точки зрения: как это тело умертвить. Он был неплохо осведомлен о современных методах лечения рака, некоторые из них отдаленно пересекались с его исследованиями; он ведь тоже, если очень грубо обо бщать, изучал направленное уничтожение определенных клеток.

Однако он все же оставался профаном в медицине. Отвлеченное, теоретическое мышление о смерти, ставшая в лаборатории рутинной близость к ней породили у Калитина развращенное высокомерие технократа, уверенного, что разрушение и созидание, убийство и исцеление одинаково возможны; все, что можно сломать, можно и починить – вещь, тело, дух, просто этим занимаются другие специалисты, которые будут под рукой в случае необходимости: ремонтники, доктора, психологи.

Он, целенаправленно разрабатывавший вещества, от которых не было спасения, знавший хватку их свирепых молекул, все же инфантильно верил, что в случае обычной болезни спасение всегда возможно, оно лишь вопрос своевременного упреждения, вопрос средств, усилий, цены; и Калитин был готов заплатить самую высокую.

Он мог позволить себе хороший госпиталь. Хороших врачей. Мало, слишком мало для твердого упования. Ожидать помощи было бы глупо. Ему не раз сухо давали это понять. Приглашение проконсультировать следственную группу – прощальный привет, неуклюжая административная нежность. Знают или догадываются, что, скорее всего, еще год он будет на ногах. Национальная бережливость: выдавить всю пасту из тюбика. Счета из клиники тоже нужно отработать, подвести дебет-кредит, страховка ведь не все покрывает. А еще похороны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.